

ГОРОДИЩЕ ДИЕВО

*Уже снесется хула на хвалу; уже тресну нужда на волю;
уже вержеся Дивь на землю...*

Пароходик морщится, долго и исправно прочищает бронхи, чихает. Вся недолга: прокашлялся и отчалил. Тихонько клюнув носом и взяв влево, идёт себе, покачивая потёртыми боками по волнам, мимо ржавых пакгаузов, кранов с переломанными паучьими суставами, будто судьбами, мимо баржи, напоминающей кита, заросших крапивой огородов, моста, коромыслом повисшего над Которослью. И, только вырвавшись на оперативный простор, обретает словно бы достоинство.

Пароход – как Всенощная, дело важное!

Волга с утра бодро катит мелкую волну, словно трясёт мелочью в кармане. Солнце, что купчиха на выданье в прореху занавесок – лукаво в линялом чепце – выглядывает из-под туч.

Летний денёк беззаботно раскачивает берега. По салону слоняется пьяный от любви поэт с рыжей бородкой, похожий на собачку. Его очки немилосердно бликуют. Возле левого плеча его ангел-муза. Поэт щурится на окошко с надписью *буфет*. Буфет закрыт, и ему хочется завывать, муза-ангел очи долу стыдливо жуёт сдобную булочку.

Но вот окно буфета, как двери рая, открываются, и разномастная публика в шарфиках, мятых пиджаках, зевая, отправляется за пивом. Палуба, надраенная до междометия, ловит солнечные ванны, как престарелая актриса. Цокая каблуками, из трюма наверх поднимаются бояре и Шамаханская царица.

Ветер обрушивает на царицу девятый шквал, чтобы сбросить её в набежавшую волну. Бояре, нахлобучив клобук и рас-

пахнув охабень, сопротивляются стихии и упрямо лезут к свету, к просвещению, в XXI век.

На сцену!

Волга, печенеги, смута, русское похмелье, коварство татар.

Вся русская история – театр. Даже если дальше драки в гардеробе дело не идёт. Секция местных писателей скромно разгоняет печаль пивом. Пиво – комедия, водевиль, купеческий дух выветривается из выхлопной трубы. А ветер, словно духовой оркестр с тромбоном и тубой, выдувает на раструбах увертюру. Бояре, татары и Шамаханская царица в боевой изготовке.

Печенеги, смута, плачь Ярославны. На палубу подтягивается и редкий зритель, закутанный в шали, шарфы, повисает в воздухе кошачья физиономия поэта с бородкой. И тает.

Ветродуи хочет сорвать с Ярославны парик, лукавство татар, лживые маски, буйство грима, князя хотят лишить клобука вкупе с головой.

Пиит после пива напоминает Лжедмитрия, его очки пускают зайчика. Он смог бы сыграть в водевиле жиголо. Муза-ангел, докушав булочку, грустит. От трагедии к водевилю – упадок. Где настоящие чувства? Поэт с собачьей бородкой устраивает очередной набег на буфет.

А меж тем пойменные луга блестят чистым изумрудом. Стихия разыгралась. Пиво льётся рекой, низы бушуют, верхи, бояре, крикая в бороды, выясняют довольно долго и вяло отношения с крымским ханом. Тучи лиловеют, как синяк под глазом у Лжедмитрия!

Оркестр под управлением семи ветров заглушает слова. И, кажется, что вот сейчас пучина поглотит парик вкупе с Шамаханской царицей.

Смута разгорается с нешуточной силой: сапоги всмятку, брови домиком, змеиная улыбка хана, праведное негодование князя, распахнутый как после бани охабень. Но все вроде бы живы и будут жить счастливо.

Ширь оправлена в неукоснительно прямой контур берегов. Волга заужена, как юбка на талии. Чайка печально кричит, словно в первом действии чеховской комедии.

А по берегам-то вырастают церкви-корабли: колокольня, что мачта, и о пяти головах храм – сам Ноев ковчег.

«Слово о Полку Игореве»!

Пароходик нервно и упорно ломает волну, река жизни и смерти бежит опроретью мимо, оставляя на берегу храмы с воздетым горе руками.

Но бесконечность имеет свои границы, даже в воскресенье, даже после вчерашнего и в предвкушении завтрашнего. И более того, пароход решительно и безвозвратно упёрся в берег.

Упёрся в лето! В Лету!

Диево Городище! Краевед Гриша, приземистый, с портфелем, смешно растянув губы, словно собираясь улыбнуться или чихнуть, углубляется в этимологию: будто бы выковал кузнец Сварог небесный чертог, в котором поселился товарищ Род, санскритский Бог, птица Див или все сразу, вприсядку и вперемешку.

Дий, Дый, Див – бог неба или небесных вод.

Возможно, Дий – просто дождь!

Но ничего простого не бывает в России. Простота хуже пустого стакана. Возможно, Дий – председатель средневекового совнаркома. Все невозможное возможно в этом антураже крапивы, романтически выплывших из-за туч кучерявых, будто реквизит, облаков, берёзок, выстроившихся во фронт. Муза-ангел сопровождает пиита в продуктовый!

Даль, до сего момента убегающая куда глаза глядят или уже не глядят, вдруг приблизилась до вытянутой руки и превратилась в антикварную лавку.

Пароход, тархтя и отфыркиваясь, вошёл в строку «Слова о полку Игореве», как в театр с парадного входа. И кому какое собачье дело, что это благословенное местечко было когда-то чьей-то вотчиной: Дия, Деево.

Было и сплыло!

Городище!

Бояре высыпают на берег вразвалочку. Река времён прибила их к глубокой древности: some back. Со скрипящих мостков парохода они вплывают во времена Фёдора Колычева, митрополита Филиппа Московского, это его вотчина, на которую хаживал Иоанн Грозный и Малюта Скуратов.

Теперь тут, утопая в лопухах и крапиве, ряженные бояре, так и не выяснившие, кому и за что отходит Шамаханская царица и тени забытых предков. А в продуктивном очередь за эликсиром бессмертия. И покамест ясно одно, что это – Некрасовский район и левый, а возможно, и правый берег Волги.

Лжедмитрий стремится из лопухов и крапивы свой окаянный взгляд, сдобренный клюквенной настойкой, вкусной, как поцелуй. Ангел-муза рдеет от двусмысленности положения. Волга выходит из берегов. Стрелки отсчитывают вехи, века, версты, Диев, Деев. Летоисчисление сбилось со счёту. Ангел-муза мнит

себя Мариной Мнишек, Лжедмитрий – поэтом. Бояре нашли прибежище. Своё.

Городище!

Городище, чьё ты? Где ты? Как ты?

Корма уперлась в берег, мужичок в матроске проворно уронил мостки.

Впереди чужая земля и слава. Позади Волга и запах солярки, в буфете – пиво, в голове – ветер, вокруг – вольному воля, а спасенному рай!

Бояре и не бояре разбредаются по берегу, экскурсовод углубляется в исторические дебри, как в лопухи, из которых следует славное прошлое большого торгового села, промышляющего, торговлей, рыбной ловлей, судостроением, каменными работами и т. п.

И было Диево Городище село многолюдное и вельми богатое.

Но ни брусчатки, ни театра, ни рыбы. Если не считать огромной тухлой щуки на берегу в крапиве.

Ну а бояре пьют водку и занюхивают её хреном, которого нынче урожай!

Ничего не осталось, лишь тоска да печаль. Да еще хрен, да ещё домики деревянные с резными наличниками, подновлёнными, словно губы у девицы в клубе на танцах. Куда они все эти промышленники: Тарасовы, Ершовы, Ивановы, Князевы, Снигирёвы, Ямельяновы, имевшие магазины, торговые лавки, чайную, пристань, баржу, – делись? Одному Дию известно.

Постепенно проясняется, что зажиточное село революцию не приняло. И когда в 18-м по берегу Волги из Костромы на помощь рабочим отрядам Ярославля для подавления белогвардейского мятежа прискакали большевики, Ершовы и Тарасовы негостеприимно встретили их огнём из пулемёта с колокольни церкви Троицы. И даже организовали силами крестьян села бунт, который, впрочем, был жестоко подавлен.

И не стало Диева Городища. Уплыла слава его на кораблях-колокольнях в Лету!

И только в середине 20-го века стало Диево Городище Борщовкой, декорацией для съёмок фильма «Афоня».

Наслушавшись исторических экскурсов и дискурсов, публика берет штурмом продуктовый. Продавщица, забубённая разведёнка, контрольная, продлёнка, Анютка и Алёнка, зычно кричит:

– Тут вам не самообслуживание!

Эскимо звучно и неопровержимо падает на пол из дланей поэта, он раздражается залиvistым лаем, муза-ангел смешно щурит носик.

Хорошо и смешно. Особенно после вкусной, как поцелуй, клюквенной настойки.

Обратно бояре, смешавшись с разномастной толпой народа и писательским активом и изрядно захмелев, поют:

Из-за острова на стрежень!

Шамаханская царица, она, конечно, не царица, и не Шамаханская, но боязливо поёживается. Кто этих чертей знает? Начнут, как всегда за здоровье, а кончат – революцией или контрреволюцией.

Ершovy, Тарасовы выкинут фортель, выбросят за борт!

И что?

А и ничего!

И будет баба Морской царевной!

А почему бы и нет?

До парохода поэт с рыжей бородкой был батюшкой, обедни служил.

Попадья дома, а он тут с ангелом-музой, молодой и беззаботной.

По Дону гуляет казак молодой...

Плохо ли?!

Отнюдь!

И даже –

Очень!

Хотя это уже другая опера. Другая эпоха и жанр другой: водевиль.

Всё смешалось: бояре, Тарасовы, Ершovy, щука, люди, чайки, Дий и матросик.

И куда они плывут и откуда?

Никто не ведает. И не надо.

Диево Городище позади и впереди Городище!

И вокруг тож.

И только муза-ангел радостно икает на плече у поэта, похожего на собачку.

А он и не он будто бы шепчет:

За грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать...

ГАЛКА

Помню губы её, но не четко, а словно на отретушированной фотографии. Губы как у французской актрисы 70-х. Они были отдельно, словно эта невысокая, светловолосая, коренастая женщина, крестьянская косточка, помесь ломовой лошади с человеком, выписала их по почте из Парижу. Или выиграла в лотерею. Откуда такие взялись в Угличе?

Блондинкой она стала уже потом, когда будущий её муж к французским губам решил подобрать что-нибудь подходящее. Шатенка превратилась в крашеную блондинку. Но Углич, коротковатые ноги и беспородность остались.

Русская: женщина или пони?

Женщина из этой пони словно бы вырывалась наружу, просилась отпустить на волю.

Но: дети, хозяйство, муж, муж, дети, хозяйство, курочки, кабанчик Борька. Готовка, уборка, стирка, хозяйство, муж, дети, кабанчик, курочки, хозяйство, уборка, стирка, кабанчик...

Нет конца и края, сколько ни вглядывайся в серую полумглу, наползшую на село, словно косынка на глаза.

Галка!

Архангельское, помню, стояло по пояс в снегу. Джипы утюжили раскисшую хлябь дороги, как чугунный деревенский утюг брюки, разглаживая стрелочки. С неба на землю просыпался мешок сахарной пудры. По обочине слонялось расхристанное существо среднего рода с зажатым за пазухой топором. В магазине замерла почти что навечно продавщица, затаилась, словно щука в камышах.

Стоит и не дышит.

Поздняя осень или ранняя весна.

Да кто ж её разберет?

Лицо у продавщицы, траченное обидой. Когда папа с мамой нашли её в капусте, то не думали, что спустя лет тридцать их дочь будет отпускать людям с песьими головами подагрическую селёдку, пиво и водку. На этикетке бородатая морда с щучьим прищуром, словно говорящая: ужо надерусь. По этой бы морде селёдкой!

И вот она теперь притихла в этой магазинной мутновато-зелёноватого окраса заводи, словно кикимора. О её наличии отсуствии можно догадаться по зычному басу:

– Никита, неси ещё ящик водки!

Таджик с чёрной мочалкой бороды бодро бежит в подвал. В подвале водятся черти, которых мусульманин не боится, потому что они не его веры. Это – продавщицыны!

В Архангельском Галку и заточили в четырёх стенах с детьми, кабанчиком Борькой, курями и мужем...

Когда ещё я бежал быстрее лани по Белорусской, я вдруг почему-то оглянулся, и мне показалось: Галка.

На лавочке в голубом вязаном ободке, словно у лыжницы. Галка-лыжница, наверное, из прошлой жизни. Но – на Белорусской?!

Знать, другого сообщения, как не на лыжах, призраки не имеют? Русские призраки ходят на лыжах. А на чём еще и ходить-то?

Ну да, не призрак, а Галка сидела на лавочке и, уткнувшись в сумочку, что-то искала и не могла найти затерявшуюся во времени маленькую лазейку, выход.

Как выйти, как можно хоть на секунду удрать из этого замкнутого круга: хозяйство, муж, дети, кабанчик Борька, магазин с чертями в подвале, таджик Никита. Хотя бы вот на лыжах?

Галка, подумал я, откуда здесь Галка?

Галка привязана к дому, как собака на цепи. А если куда и вырвется (или сорвётся, как с крючка), то – в магазин.

Но нет, показалось. Лыжница, работая крутыми, чугунными, как утюг, бёдрами, растворилась в пространстве.

Зато выплыл черномазый вечер. Поздняя электричка, закусывающие водку шоколадкой контролёрши. Середина октября, улетучившееся тепло, но ещё вроде бы не холодно, зябко, стыло, снуло...

Поздняя электричка идёт вразвалочку, огоньки мелькают пьяные, обветренные станции выбегают на свет, как собака за косточкой.

Рельсы, переплетённые в жгут. Время, сжатое в кулак. Фонари взрывают ночное безмолвие. Где ты мой Ханаан, мой алфавит, моя земля обетованная?

Но!

Ярославский вокзал – Ленинградский вокзал.

Между ними мечет громы и молнии чугунный, как давешний утюг, Георгий Победоносец.

Возле вагона «Москва – Санкт-Петербург» – круговорот пассажирской массовки, чемоданы, носы, бороды, разговоры.

Я ожидаю Борю и Галку.

Перрон – небольшой балаганчик с размалёванными физиономиями, бомжами, железобетонным ОМОНОм и таджиками, как тараканы выглядывающими чёрными глазами изо всех киосков.

Всё это бурлит, булькает, кружится, бегаёт взад-вперёд, а я возвращаюсь к вагону, где уже мечется, как в клетке, встревоженная Галка. Борьки нет. Пропал Борька. Совсем пропал, почти как кабанчик!

Оказалось, Галка забыла где-то какой-то из чемоданов, и взбешённый бык Борька побежал на поиски.

Борька мчался по вокзалу, высекая искру из мрамора. Тму-таракань шарахалась в сторону. Борька ревел, как голодный кабанчик!

Русский человек, если и вырывается на волю, на два, три дня, то обязательно с надрывом. С надломом, как рыдающий Пьеро, бросающий даме своего истерзанного сердца тряпичную жизнь.

Чемодан пропал. Ушёл пешком, по путям. Растворился, исчез.

– Да где же его теперь найдёшь... вокзал... народу... только высморкался, и чемодану нет... черти! – вместо приветствия уныло выпалила Галка французскими губами, и её голос был похож на дубляж старых французских комедий. Не её голос, чужой, не Галкин, а француженки, Милен Демонжо.

Архангел Михаил сонно смежил крылья над левым Галкиным плечом.

Галка не говорила, а, словно азбука морзе, выговаривала, стараясь при этом не запутаться в словах, запятых, вещах, чемоданах. Говорила без пауз, пока её гневно не обрывал бык Борька: хватит болтать!

Галка!

Вокзал бурлит, как вода в чайнике, но вот из всей этой пёстрой массовки размашистым шагом, в чёрной бороде и профессорских очках, выбегает, словно умывальник из маминой из спальни, дородный Борька. Весь пышущий гневом, раздражением, словно пляшущий. Галка вжалась в эту зябкую осень, как лист, но бог гнева, сверкнув очками, исчезает в купе. За его мощной, словно поршень, фигурой двинулись и мы с Галкой.

В тесном купейном мраке с запахом простора, поглощённого и ещё не выветрившегося, сразу же началось хаотическое перемещение вещей, чемоданов, голов, бород, очков, ног, запятых и пауз.

Галка выпаливала пулемётные очереди радостно-возбуждённых междометий, Борька ворчал, ворочая пузатые чемоданы, китайский дерматин, закидывал нескончаемые вещи на полки, чемоданы падали, как снег, падали на Галку. Борька их

закидывал опять, что-то постоянно искал, терял. Галка неизменно-верным образом находила пропажу, вытаскивая всё это словесно-вещевое вещество из того воздуха, которым повседневность привязана к путешествию, в пути, как фокусник.

Наконец, поезд, словно нехотя, тронулся рассудком, мы расселись. На верхней полке, оказалось, что кто-то давно спит, придавленный собственной тенью. Возможно, автор.

Борька сразу замахал на Галку руками, большими, как мельничные жернова, чтобы она заткнулась.

Галка заткнула рот руками, но через минуту плотину тишины сорвало с петель, и Галка опять затараторила, впопыхах всовывая в меня пироги с куриными пупками, бутерброды, соки, воды, мороженое.

Поезд набирал обороты. Борька разливал по металлическим стаканчикам коньяк, и хотя я вовсе пить не хотел, он сказал, как отрезал:

– Это настойка на кедровых орешках, полезная!

Вагон, вырываясь из тёмных объятий Ленинградского вокзала, улетел в ночь, я отхлебнул и закашлялся, Галка тут же ударила меня по спине и сунула ещё куриных пупков.

Я сидел и кашлял, в руках, как букет, три пирога с куриными пупками.

– Ешь, пирогов у нас много, вчера курочку зарезали... – засмеялась Галка, я опять закашлялся, а Галка, словно и не слышала, продолжила, – кур у нас пропасть. Бегают, как угорелые, гадят везде, а ты корми их...

– А ты не корми, – посоветовал я Галке, – она хихикнула с оглядкой на Борьку.

– Ну как же не корми, живая тварь ведь...

Разговор сдвинулся на куриную тему: куриные пупки, пирожки с капустой, кедровые орешки, дом, дети. И я слушал вполуха, слегка разомлев от тепла и хмеля...

Хорошо вот так вот ехать, пьяненьким, осоловев, и слушать про куриные пупки, мозги, кабанчика, про продавщицу, про её несчастную любовь, трёх детей, с ужасом представляя себя её мужем, который стремглав ухал в Питер и ничего ему больше в этой жизни не надо. Ни продавщицыных бурных ласк, ни суматошной жизни. Жизни, от которой спустя какое-то время не осталось ничего, кроме слова *деверь*.

...Никто и не помнит, как здесь очутился деверь, как он сел за стол и, крякнув, дёрнул настойки на кедровых орешках, видимо, я задремал, и моё место занял деверь...

Поезда лишают нас воли и забот. И ладно.

Стало быть, куриные мозги... Один пузырьрёк, напоминающий бутылочку из-под одеколона «Саша», опорожнили. Борька, уронив на Галку чемодан, достал второй.

Я наотрез отказался: спать пора. А Борька или деверь вместо него, словом, они оба ответили: по чуть-чуть, на посошок, стремленную, закурганную. Деверь предложил выпить и тени на верхней полке, та зашевелилась слегка и пропела русалочьим голосом: спасибо не хочу!

Было около трёх часов ночи, когда всё было выпито и съедено, деверь давно спал, Борька вконец осовел, моя глупая пьяная улыбка, кажется, застыла навсегда, как у клоуна, и уже отделилась от меня и давно висела в купе, как голова чеширского кота, и Борька веско пробасил, как пономарь в церкви: аминь, спать!

Но Галка всё никак не могла умолкнуть, все чего-то по инерции шептала, договаривала, куда-то всё бежала, топала, как пони, пока Боря на неё не рявкнул...

Ночь укутала нас в тёплый шотландский плед в крупную клетку, и мы забылись сном.

В моей голове шумел камыш, настойка на кедре, прыгали по платформе куриные пупки, важно выпятив живот, расталкивая толпу, шёл с тележкой пирог с капустой, бегал упругий кабанчик Борька, деверь дрался с продавщицей... Галка пуляла в ночное небо одиночными выстрелами, трассирующими, которые в небе прочертили огненный пунктир:

—...мы с подругой встретились на вокзале, она куда-то уезжала, я Борьку встречала, сидим в кафе, пьём чай, орём, не можем наговориться, и не понятно, как час пролетел...

Утро наступило внезапно, как хмурый очкарик в демисезонном пальто с тележкой на ногу. Поезд твёрдо уткнулся в перрон Московского вокзала покатым лбом, словно кабанчик Борька в корыто.

Ещё не рассвело, и не понятно было, рассветёт ли, как это часто случается в Питере, Галка бегала по вагону, Борька был мрачен и по обыкновению ворчал. Галка лихорадочно хватала какие-то сумки, пакеты, свои и чужие. Наверное, Галка и не спала, а всю ночь бегала по вагону наперегонки с куриными пупками и разнимала дерущихся деверя и продавщицу.

Борька, наконец, окончательно проснулся, осознал, хотя и с большим трудом, что мы проспали, и что Галка его не разбудила, и рявкнул:

– Где мой телефон?

Галка ещё пуще прежнего припустила по купе, как курица на пыльной дороге, всё норовя угодить под колёса мотоцикла или грузовика с водителем в серой кепке набекрень...

Первый день пребывания в Питере не удался. Накрапывал мелкотравчатый дождик, свинцовые тучи упали на землю. Порывистый ветер холодный мокрой перчаткой хлестал лицо.

По пути в гостиницу, на Невском, Галка, кажется, была счастлива, я показывал ей и хмурому Борьке, который всё еще не проснулся, здания с кучерявыми капителями, атлантов, ангелов во главе с архангелом Михаилом, примостившихся на крышах, словно голуби, и крутобёдрые колонны.

Галкины глаза лучились счастьем. Вряд ли она понимала, что ей показывали и рассказывали. Она просто погрузилась в какое-то блаженное состояние. Капители и армады мостов стали фоном её счастью. Словно она не могла до конца поверить в то, что ей не надо готовить, мыть посуду, провожать детей в школу, кормить скотину, кабанчика, Борьку. Казалось, что она спит и видит чудесный сон. Наивысший накал Галкиного счастья пришёлся на дом Белосельских-Белозерских.

Боря недовольно бурчал, стараясь, как мог, укротить Галкино бестолковое счастье, вместить её в какое-то русло, сумку, чемодан. Но оно не убывало. А когда нас поместили в хостел, напоминающий тесный клоповник, спрятанный от глаз людских в лабиринте дворов на Фонтанке, счастьем, кажется, не было конца и краю.

Галка шутила, маленькая каморка, в которой всё полезное пространство заняла двуспальная кровать, удобства в коридоре, да ещё у комнаты с консьержкой одна общая дверь, все ей казалось фантастическим и нереальным. Она и не хотела никак просыпаться.

Галка!

Вечером мы бродили по тёмным закоулкам со светлыми пятнами витрин, липнувшим к мостовым, как последний, озябший, осенний листик в бесплодных поисках, где бы нам перекусить и выпить, и очень устали. Борька опять ворчал, а Галка притихла от переполнившего её счастья.

Возле кафе с надписью *кура* она забилась беззвучным смехом. Борька укоризненно покачал кудлатой головой, но она не удержалось и выпалила: нет, ну правда, Борька, смешно: кура!

В конце концов, мы обнаружили какой-то не то китайский, не то индийский кабак с красными драконами и официантками в малиновых шароварах, с которыми Борька сразу начал флиртовать. Галка это заметила и предложила ему забыться в обществе девицы в малиновых шароварах. Борька рявкнул на Галку, и мы заказали лапшу под пиво, а я всё смотрел на грузного мужика, который так страстно навалился животом на стол, как будто вместо сидящей рядом миловидной брюнетки решил заняться любовью именно с ним.

Я сказал об этом Галке, Галка прыснула смехом, подавилась лапшой, Борька грозно посмотрев на меня, рыкнул: хватит уже!

Хватит – не хватит. Счастья много не бывает. Его нельзя прерывать. Иначе оно может и обидеться.

Борька этого не знал, а я-то воробей стреляный. Я словно чувствовал...

Но на утро из-за покатых и сумрачных крыш вдруг радостно брызнуло солнце. И Галка, выйдя на набережную Фонтанки, которая вчера ещё была похожа на серебряную фольгу, а сегодня стала голубой, так змея меняет кожу, воскликнула:

– Господи, как хорошо!

Да, вот бывает так, человек совпадает с погодой, цветом и запахами воды, неожиданно и вдруг. То ли Галке это чудо было даровано авансом за те годы глухого заточения в доме, выходящем на дорогу, которую утюжат угрюмые, как чугунный утюг, джипы, то ли природа давала ей последний шанс, чтобы она совпала с ощущением радости жизни, а не одних только забот.

И Галка оглянулась на это лазоревое, отражённое глянцем воды, живое и дышащее покоем эхо совсем другой жизни. Не здешней, а может быть, немного французской, монмартрской. И почувствовала этот город, как что-то родное, во всяком случае, не далёкое, а совсем своё. И это водно-прозрачное, призрачно-хрупкое вещество окликнуло её эхом из глубокого колодца, опалило красотой.

Синее небо загустело, и краски стали более отчетливы, как на фото.

А я рассказывал Галке и Борьке про Михайловский замок, про Павла, про памятник Петру, Борька всё больше хмурился, а Галка купалась в небрежной и случайной роскоши последнего погожего денька, словно выглянувшего из-за плотного бархатного тёмного полога. Она побежала к Чижиху-Пыжиху, бросала монетки, чтобы попасть ему в макушку, но так и не попала, и

не опечалилась, а ощутила горький привкус судьбы, словно посылающей ей знак. Но всё это сразу же и забылось, когда мы спустились к реке, и Галка подставляла свои французские губы солнцу, словно целуя его.

И мне вдруг показалось, что всё это происходит, словно в последний раз. И не то, чтобы такое не может повториться никогда, для меня, может, и часто повторялось, но вот для Галки этого счастья хватит надолго и с лихвой. Но счастья для неё не бывает вот столько, много, она непривычна к нему. Она не знает, что с ним делать и виновато посматривает на Борьку, словно спрашивая у него разрешения. И вроде бы он тоже оттаял, мрачный Павел спрятался в Михайловском замке и затаился за плотным пологом. Я сфотографировал их на гранитных ступеньках, обветренных и скользких, как рыба, вода облизывала губы, сочилась сквозь время, и времени было много, целая река, его можно было тратить, процеживая, словно сквозь дуршлаг, сквозь решётки Летнего сада, не переживая, что осталось так мало. И опять мне показалось, что всё это может быть в последний раз. Эти кадры на память с загустевшим, с августейшим небом, они не повторятся больше никогда. Такого просто не может быть, не бывает. Или бывает, но один раз. А второго раза уже не будет. Это чересчур для Галки, ей нельзя, она ведь привязана, как собака к своему дому, а тут рай, и нет никаких тебе забот.

Галка!

Вечером мы пошли на Старо-Подьяческую, долго искали пропавшую без вести улицу и дом со двором-колодцем, а когда, наконец, нашли, то подворотня была заперта на замок.

Мы пили коньяк из Борькиной фляги, Галка доставала из своей бездонной сумки закуску, бесконечные пироги с пупками, Борька, захмелев, хохотал, как Рогожин. Потом, пошатываясь, к воротам приблизилась бесплотная серая тень, словно оттиск тьмы, отомкнула ворота, и мы просочились вслед за ней. Но в подъезд так и не попали. Тень возле входа в подъезд оказалась хмурой тёткой, закутанной в шотландский плед в крупную клетку, она зашла в подъезд и дёрнула дверь на себя. А мы схватились за ручку и с силой потянули дверь в свою сторону. Шотландский плед голосил, что не пустит нас, а Галка, хохотала и требовала, чтобы – впустили. Минут пять мы раскачивали дверь в разные стороны, плед спрашивал нас, зачем мы лезем в этот подъезд, а мы отвечали, что нам надо, что мы достооевскоеды, у нас симпозиум по Раскольникову и т. д.

И опять мне почудилось в этом что-то фатальное. Я всякий раз проходил в этот злополучный подъезд и не однажды, но вот Галку не пустили.

Почему?

Мы стояли втроем на дне чёрного колодца, который до краев был наполнен промозглой тьмой и тишиной, словно проложенной ватой, пили коньяк, смотрели в тёмное окно на четвертом этаже, Борька хохотал, я молчал, Галка выуживала из воздуха куриные пупки...

А на обратном пути нам попадались какие-то магазинчики, рожи, вихляли бёдрами тени, из подвалов рвалась наружу музыка, Борька покупал новые флаконы одеколona «Саша», Галка – колбасу, город окутал нас прочной шерстяной шалью, мы заблудились, долго шли наугад, покуда не очутились в галерее Гостиного двора...

Вечер совсем захмелел. Пьяные прохожие, раскачивая кораблик, гребли наугад.

Ожили витрины, задвигались буквы, складывая причудливые и странные сочетания: этническая мебель; пиво, кофе, квас в розлив и с собой, дневник онаниста, ликбез или любовь у сливного бочка, ешь богатых и т. д.

Борькина борода совсем измочалилась. Очки сияли, как фонари, а фонари напоминали сползшие на нос очки.

Поздний трамвай прогрохотал по рельсам на Садовой, пукая искры. Опять закапал дождик.

Представление закончилось. Завтра в Москву. Сумрак, вот рабочие сцены уже разбирают декорации спектакля, который был устроен для Галки.

Фигурные решетки Суворовского училища вспорхнули и проплыли в тишине вечера на склад. Лица рабочих сцены не видать. Они ведь ангелы.

Галерея Гостиного двора в бесконечной, фотографической чёткости развернула фатальную перспективу арок. И мы шли сквозь арки, галереи, как сквозь годы, и годовых колец было много и не было им конца и краю.

Будто бы жизнь решила вывести из этого злополучного круговорота Галку, но именно здесь.

Витрины и афиши строили нам рожи, хохотали, но мы бесстрашно опрокинули ещё по стопке кедровой настойки. И тьма рассеялась.

И вот мы стоим возле своего хостела.

Пустой двор. Маленькие путники в холодной вселенной городского колодца. Ночь, тихий шелест Фонтанки, дождь. И больше ничего...

...Спустя полгода, уже в Москве, в метро вдруг завопил благим матом мой мобильник, и чей-то тихий, подавленный голос, словно чужой, на том конце земли сказал:

– Галка разбилась, совсем, насмерть!

– Как это – насмерть, когда? – Спросил я у пустоты. Этого не может быть, все это – ложь. Галка бессмертна. Она нужна семье: стирка, уборка, куры, кабанчик Борька...

И потом, разве это не она сидела час тому назад на Белорусской, в вязаном голубом ободке, и копалась в сумочке?

Не может быть, не верю, это была, есть и будет – Галка!

«ОТДЫХ»

Поначалу кажется, что пожилая строгая учительница отчитывает балбеса за нерадивость: «Переписать от сих до сих...».

Станция с отдышливым именем, коротким и благозвучным: удар под дых. Или – профилактический диспансер, где врачуют разные жизненные недуги, неприятности и прочая. Чтобы от них ничего не осталось, кроме душевного спокойствия, мечтательности, непостоянства и ветра.

Нельзя проехать мимо этой станции, невозможно. Неправимо! Здесь нужно остановиться, выйти, вздохнуть полной грудью сосновый воздух и жить, не торопясь, плавясь на жарком солнце, как сырок «Волна». И потом отправляясь по волнам этой небыстрой оторопи:

Отдых!

Если вас забросила судьба на станцию «Отдых», значит, вы её избранник. Если ещё не забросила, то у вас нету шансов. Вас обошли, обвели вокруг пальца, обманули, обмишурили. Так, наверное, думал, и мой папа.

И вот я – на «Отдыхе»! Навсегда, навек, на всю жизнь и даже больше.

Утро.

Электричка вытрусилась меня, как крошки из рваного кармана. Куртка из свиной кожи, изношенные башмаки, над которыми жизнь посмеялась ещё года три тому назад.

Чем я заслужил счастье очутиться здесь? Не знаю. И потому стою на платформе и оглядываюсь по сторонам.

Прислушиваюсь и принимаю, как будто эта железобетонная платформа – не более, чем убедительное доказательство того, что произошло.

Непреклонные сосны, раскачиваясь, словно маятник, развеивают по миру тягучий и смолистый ветер. И мне всё ещё кажется, что я сплю, и что вот стоит сейчас проснуться, и я вернусь обратно. И это «обратно» всё ещё было за моей спиной, как неизбежность, неизбывность или бетонный забор. Но электричка, мелькнув аккуратно вырезанным из картона чёрным квадратом, исчезает в утренних сумерках.

На станции «Отдых» глаз отдыхает от города. Высотные кирпичные дома боязливо выглядывают из-за леса, словно востроносая морда любопытного ежа из частокола колючек.

Дома растут на станции «Отдых» не часто, не сразу, а с перебором, словно кто-то играет на гитаре. Или – перерывом, как будто пауза, взятая провинциальным тенором в доме культуры с дорическими колоннами и завитушками, набравшим в лёгкие воздуха, а на выдохе ошеломившего притихший в испуге зал верхним «до». Так что осыпается, словно листва, штукатурка и бетонный виноград, всё рушится и исчезает за пеленой лет.

И потому город сумрачно посапывает за соснами, словно старый пёс, уткнувшийся мордой в подстилку.

И более ничего, день ещё не начинался. Его даже ещё не начинали. И даже не думали.

Никого и ничего.

И меня вроде как ещё нет. И лишь какой-то бородатый тип с пропечённой картофелиной лица и болотного цвета рюкзаком, заполонив безнадёжной тоской своего ожидания всё пространство щерблённой платформы, дремлет на лавочке.

На каждой станции дремлют пропечённые жизненными невзгодами, дождями и непогодами странники, путники в ночи, с рюкзаками и тележками, со спутанной бородой и тяжёлым взглядом из-под кепки. Все они устремились на станцию «Отдых». Но редкий из них доберётся до «Отдыха». «Отдых» – он не для всех и каждого. «Отдых» ещё надо заслужить!

Или всё это сон?

Но во сне не бывает такой пронзительной тоски. Значит – не сплю.

Подмосковный городишко – жидкие общепитовские щи, коммунальная дыра, где люди с мучнистыми лицами месят вязкую, как тесто, жизнь.

Туман белым саваном погребает под собой деревья, дома, прохожих, осторожно ощупывающих ногами ноябрьскую, озябшую от предчувствия вечной зимы, холодов, распутицы дорогу. Заиндевевшая от инея трава, кажется, сейчас вот хрустнет, и

посыплются в разные стороны хрустальные брызги муранского стекла. И, словно грузная, большая ваза, расколотая чаша неба, охнув, осядет на дорогу, сиротливо убегающую в туман.

Отдых!

И ещё, наверное, название станции напоминает старую книгу, которую обыкновенно забывают на дачах под пыльной кроватью или на антресолях, чтобы больше никогда к ней не возвращаться. Жизнь – это вечная дача, отпуск или командировка.

Жизнь – это отдых!

Пока я перелистываю страницу за страницей своих воспоминаний, как чужие письма, из тумана появляется лисья физиономия моего одноклассника...

Вот тут, на его родителе, отдых отыгрался по полной. Его папа – работал на Бываловском машиностроительном заводе в Вологде. А в этот город угодил в вечную командировку. На всю жизнь.

Женился, по случаю, просто потому, что надо было чем-то занять себя, убить время, так как делать, судя по всему, было особо нечего, обзавёлся детьми, в кирпичной двухэтажке пепельного цвета производил какую-то бурную жизнедеятельность.

Иногда его можно было застать в разных, иной раз противоположных, местах, причем одновременно. Он был нигде и был везде. Вроде бы спеша на работу, которой не было, но чрезвычайно озабоченным лицом, пыжась, то ли спекулируя пыжиковыми шапками, то ли перекрашивая котов в пыжика. Во всяком случае, его сынишка, мой одноклассник, Костик, котов явно недолюбливал. При виде серой в косую полоску, белой в крапинку или разноцветной шерстяной морды его, словно выворачивало наизнанку. И он зверел...

А папа Костика суетился, толстел, лысел, но, однако, скопил, отдыхая, на книжке 25 000 рублей, которые в 1991 году в одночасье превратились в мусор. И потом остаток дней жаловался соседям и всем, кто под руку подвернётся, на судьбу, покуда одним весенним вечером не отправился в командировку немного более удаленную, чем Бываловский машзавод от Москвы.

Побывав в командировке, вернулся на круги своя, когда к дому подъехал запыхавшийся «пазик» и забрал папу Костика из кооператива, заработанного на пыжике, на вечный покой.

Но суетливая командировочная жизнь передалась по наследству и его сыновьям. После смерти Иосифа, овейанного какой-то библейской тайной, они начали бесконечный спор о на-

следстве, словно вспомнив притчу о чечевичной похлебке и о первородстве.

Сам грузный, старый Иосиф всякий раз, как будто даже и после своей кончины, сталкиваясь со мной на автобусной остановке, окутывал меня серым облаком ледяного холода. И я, глотая ртом кислород, погружался в анабиоз.

Часами стоял и слушал, как он басовитым голосом израильских пророков произносит свои проклятия всему человеческому роду, а также по совместительству соседям, бесшабашному поэту, который, словно издеваясь на стариком, изредка устраивал ему внеочередной потоп. Проклятия не избежало и время, которое отменили, когда он попал в командировку из светлого прошлого в промозглое будущее, и холодный дождь, и снег, и небеса, и эта остановка, где мы стоим, некуда не уезжая и не прибывая из неоткуда. Но мне хотелось от него удрать.

Жизнь – невесомая вещь, во всяком случае – она легче моей куртки из свиной кожи. А Иосиф наоборот прочно и основательно пустил в этот хвойный, дачно-коммунальный простор свое крапивное семя. И давил на меня зычным Соваофовым окликом, высью и значимостью. Он заклинал своими пророчествами будущее, тучи, деревья, времена года и время. Этот немыслимый в своей отрешённости городишко, платформу «Отдых», янтарные сосны и проволглное небо, пропахшее керосином.

Все эти его денежно-командировочные дела, человеко-место-метражи, забавный удел человеческого существования и ничтожества казались мне каким-то каменными скрижалями, которые я не в силах усвоить. Тем более, что я – вовсе не Моисей, а он хоть и напоминает Ветхозаветного бога, но ведь пыжиком спекулирует.

А мне даже и этого не дано. Я, словно выхолощен этим дачным чтивом и пуст, этой весёлой отпускной музыкой: *на теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу*. Разве можно на «Отдыхе» жить полнокровной жизнью?

Здесь ведь всего лишь отдыхают. Иосиф – в вечной командировке, а я, отлынивая от дел, коллекционирую местных придурков.

Гена. Первый раз я встретил Гену, когда от земли шёл тёплый запах сосновой хвои вперемешку со свежими запахами керосина. Где-то за городом под утро грохотали наподобие архангеловой аэродром и аэрогидродинамическая труба. Земля дрожала, и стёкла звенели, словно стаканы в подстаканнике в поезде дальнего следования. И мне тогда снилось, что я уез-

жаю из этого города... Стою на том же перроне, окружённом большими соснами и дремлющими дачами, где кемарит, окутав его тоской своего ожидания, бородатый тип с болотистого цвета рюкзаком. Кемарит, словно сфинкс на гранитной набережной. Но под утро, утопшее в густой вате тумана, вдруг оказывается, что в кассе нет билетов. И не будет. Никогда. Или поезд опаздывает на неопределённое время, или вовсе отменён за ненужностью. Или уже ушёл, показав на прощание аккуратно вырезанный из картона свой чёрный прямоугольник...

И я просыпался, и шагал в школу, вовлеченный водоворотом будней в странное и довольно безудержное кружение.

Гидродинамическое пространство грохотало, пыжилось, производило гром среди ясного неба и, кажется, ни для чего другого не было предназначено. Хотя за городом, там, где сосны, встав на цыпочки, дотягиваются мохнатыми ладонями до неба, изредка падали самолёты, как в августе звёзды в траву. А по улицам бродил в рассеянной задумчивости Гена.

Добрый Гена работал на картонажной фабрике. Прессовал картон, коробки, ящики и прочую ерунду. Местная малотиражка (или, как её ещё называли из-за пристрастия главного редактора к зелёному змию – малолитражка) регулярно публиковала репортажи с картонажной фабрики. С неизменным заголовком: «Картонажники смотрят в будущее с оптимизмом».

С фотографии на притихший, с пылью, прибитой дождём к земле, город и станцию «Отдых» смотрел Гена глазами, полными восторженной любви.

Так, видимо, смотрел Вседержитель с небес на своё творение, которое муравьём бегало там, внизу и спекулировало пыжиковыми шапками. Вместо того, чтобы думать о Нём и соблюдать законы Моисея. Или – старый Иосиф, возвышавшийся благодаря делу своей жизни надо мной, никчёмным студентиком филфака, который и про сберкнижку-то узнал в одну из очередных его проповедей на автобусной остановке. Хотя Иосиф был ниже меня ростом. Но я всегда вспоминаю его лицо, словно нависающее надо мной из вязкой ваты серого облака.

А Гена беззаботно бегал по городу, как первооткрыватель новых земель, и собирал драгоценные бутылки.

Весело подпрыгивая, пружиня на тонких ногах, словно солист балета, он летал по улицам, заметённым снегом или листьями, по пористым асфальтовым дорожкам, погружённым в своё прошлое, пристально оглядывал урны, помойки, и что-то всё время бормотал. А возможно, пел. Весёлые, суетливые сло-

ва, речитатив какой-то без конца и без края. Возможно, он пел псалмы или арию, где, как в маленькой прихожей, полной гостей, тесно от слов.

Его бурная жизнь с утра до вечера была наполнена до краёв какой-то деятельностью. А мне всё время не хватало вот этой его отрешенности и цельности. Гена принадлежал бутылкам, бутылки принадлежали ему, иной раз хотелось унести за ним вскачь. Догнать его тень с холщовым мешком, пакетом, торбой, котомкой, авоськой, разделить его убогую радость по поводу найденной в кустах боярышника, осыпающегося красными гроздьями, словно звёзды или самолёты, зелёной, цвета болота и детского секрета, зарытого в землю, бутылки.

Бутылка – выдуманная, выдутая из стекла стихия радости.

Вот он – весь в чёрном – Гена, как падший ангел, бежит мелкими перебежками по городу.

Мне всегда хотелось подобрать к этой его суете какую-то музыкальную тему, чтобы и ему было легче и проще с того света возвращаться к себе, Гене, бегающему по городу в поисках бутылок, на этот. Наверное, я бы поставил вот это: Lee Wiley «Manhattan».

И вовсе не потому, что хочу оскорбить его память. А просто очень хочется чем-нибудь порадовать Гену, ведь жизнь его не баловала.

Иной раз кто-то его о чём-то спрашивал, и он в ответ бубнил скороговоркой. Но попробуй разгадай эту тайную вязь Гениного говора, это всё равно что понять тайну творения.

Что он пытался своими разомкнутыми для нечленораздельного мычания устами донести до человечества в моем лице или лице старого Иосифа?

Уж во всяком случае не то, что картонажники с оптимизмом смотрят в будущее. Или это и был тот самый оптимизм, на волну которого я никак не мог настроиться? И мы пребывали с Геной в разном музыкальном ладу, он – в мажоре, я – в миноре, и встретиться нам было не суждено. Лишь наши бранные тела иногда пересекались на пространстве рынка, по которому носилось странное существо в белом халате и парике.

Не сумасшедший или блаженный, как Гена, а всего лишь – директрисса, с утра до вечера, как и Гена, одержимая поисками того, во имя чего жил на этом свете Иосиф.

Грязно-белый халат, как олицетворение антисанитарии и неустанной борьбы с оной. Парик она носила, нахлобучив его до бровей, словно каску, в которой идут в бой на германца. С са-

мого раннего утра она вступала в неравную схватку с врагами, со злостными неплательщиками дани, бегала, как заведённая пластмассовая курица, покуда не заканчивался завод.

А завод никогда не кончался. Ни летом, когда пыльная арена гладиаторских схваток с противоположным элементом, пропахшая запёкшейся и скисшей кровью свиных и говяжьих туш, с грудой мусора, газетами и коробками, прессуя которые, Гена с оптимизмом смотрел в будущее, превращалась в чугунную, раскаленную от жара добела, сковородку. А директор – в Азраила, ангела смерти с четырьмя, как у стрекозы, крыльями и лицами.

Азраил нещадно изгонял с этого пространства на то, которое за чёрной, могильной, почти ажурной, решёткой, покрытой годовыми кольцами нитрокраски, старух с картошкой, зеленью, и моего папу. Папа продавал излишки книг из нашей библиотеки, чтобы хоть как-то прокормиться.

Денег в то время было много, но они, как фантики, ничего не стоили. Они были невесомы, как слово, словно грибной дождь, аккуратной сеточкой разлиновывающий асфальт. Каждый день к единице прибавлялся нуль, и эти нули, как на воздушном шарике, уносили большие, словно простыня, которая полощется на верёвке в белёсом сомнении расцвета, купюры в небо. Деньги стали невесомы, и чем их больше, тем они меньше значили, на них ничего нельзя купить, кроме воздуха. Ну, может быть, ещё чуть-чуть хлеба и молока.

И у папы голова седая, и у Азраила – белая. И всё это сочталось и рифмовалось в пространстве, очерченном грузным зданием рынка, напоминающим осевший в землю по самый портик дом культуры.

Серые палатки, заборы, помойка, шлагбаум, возле которого сидит на табуретке бабушка и дергает за веревочку. И во всём этом – особый смысл и знак. Но я этого ничего не понимал, но зато понимал, наверное, Гена, растворявшийся в этом пространстве, как серый кубик клюквенного киселя в воде.

И зимой Азраил парил над вверенной ему территорией с неубывающим энтузиазмом, как самолёты над городом. И даже в лютые морозы, поплотней нахлобучив на брови белый парик.

Гену Азраил не трогал, и даже трогательно опекал, и за это Гена о чем-то подолгу и с большим воодушевлением говорил с ним. Диалоги эти были почти сократовские. Исполненные смысла и веса, которого решительно не доставало мне, чтобы давать в обратном направлении на атмосферный столбик, пригибающей меня к земле.

Я подолгу смотрел на Гену, уносящегося вдаль с большой сумкой, нежно переливающимся бутылочным звоном, словно неторопливая джазовая импровизация, когда пианист толстыми, как сосиски, пальцами, осторожно стирает пыль с клавиш, или бренчит, исчезая вдалеке, грузовик с посудой.

Чёрные полы его грязного лоснящегося от старости пиджака разлетались в разные стороны и казалось, что он вот-вот оторвётся от этой грешной земли и унесётся в небо его душа, как самолёт. Над рынком, картонажной фабрикой, платформой «Отдых», где я безнадёжно завис в поисках смысла жизни, над старым Иосифом, погружённым в иудейский хаос денежных сбережений, над городом, где падают самолёты, но картонажники всё равно с оптимизмом смотрят в будущее!

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Городской рынок. Баба на чайник, подовый пирог. Урка с фиксой.

Рынок кряхтит, как живой, орёт благим матом, цветёт и пахнет.

Пахнет луком, картошкой или дубовым веником, стиральным порошком, потом, мясом. Всем сразу и ничем.

Жара – унылая пора. Даже муха спит на лету. Но даже унылый и запылённый июль, ежели его расправить, опрыскать водой, растянуть и с прибауткой «а вот налетай, с руками, у кого нет, отрывай!» всучить кому-то по дешёвке, зацветёт и запахнет.

Как только что сшитый на заказ костюм для жениха!

Городское чрево – на рынке. Всегда голодное, всегда готовое слопать каждого, кто приблизился к нему на расстояние комариного писка.

Одноразовое солнце, танец с саблями, сладкая вата облаков, арбузы, груди, кони, люди...

Машины, что чугунный утюг, проглаживают изрядно помятый и запсевший костюмчик!

Отутюженная колесом дорога нова, как только что сотворённый мир!

Ворота широко распахиваются, словно зевая.

И днём и ночью ходит у ворот охранник – фикса золотая. Темечко лысое, ресницы белёсые, шелуха казённая.

Когда золотая фикса улыбается, то словно финка воровская сверкает во тьме!

Вчера фикса служила или сидела, или всё это вместе и вприсядку, а сегодня охраняет чрево провинции.

Муха не вышла из пике. Кошачье семейство: кошка чёрная с серыми подпалинами и сумасшедше тревожными глазами и пятеро её котят, один из которых категорически рыжий, почивают в крапиве.

В небывалой по своей значительности поступи человечества по обглоданной годами и стихиями брусчатке кроется очаровательная тоска момента.

Походка плавная, почти неподвижная, словно человек не идёт, а стоит на месте, вытарасив от жары и пива глаза.

Продавщица раскладывает на прилавке пасьянс: носки и трусы с надписью «Человек-паук» и «Venezia».

Покупатель вальяжный, что платяной шкаф, даже если живёт в метре от рынка, приезжает сюда на машине. С семьей. С бабой, плотной, что бочка квасу. Дочкой, внучкой и жучкой!

Словно Суворов, покупатель совершает поход, не всегда вовремя проснувшись.

Город-сон, город, в котором снам мерещатся его осовевшие от жары обитатели и обыватели.

Прошлое и настоящее. Иоанн Грозный и обшарпанный асфальт.

Покуда обыватель принюхивается и присматривается, куда бы ему направить из машины свои купальные тапочки, с другого фланга выходит плотно, как штопор, благоверная.

Сперва показывается маленькая головка в соломенной шляпе. Голос резкий и тонкий, как у электрической пилы. Она разрезает благодать летнего пыльного выходного на равные доли, и, довольная собой, всё ещё находясь внутри салона, плывёт к рынку. Сомнамбула в сомнениях.

В руках у неё пыльная мочалка левретки, неправильным прикусом напоминающая хозяйку.

Хозяйка, а может, и левретка – совокупно – грезят о новом комоде, матрасе, гаджете, телевизоре размером с забор, который огородит находящуюся неподалёку стройку с лопухами. И ещё о чем-то безотчётном, но большом и светлом, как придорожный билборд с надписью «Умывальники, унитазы, биде».

Быть биде!

Грушевидный нос весь как-то бодро вздрагивает, словно пытаюсь уловить ароматы, краски, флюиды. Брови хмурятся, но для того, чтобы всё это внимательно рассмотреть, и так – для форсу, на нос водружаются дымчатые велосипеды.

К предкам в розовой дымке раздумий добавляется и ещё одно существо, в кислотной майке и шортах, напоминающих трусы или трусах, усечённых, как голова Иоанна Предтечи. Совершенно неземное, зефирное – с хищным прикусом брекетов. Ни на секунду не расставаясь с гаджетом, эта чупакабра сверяет по интернету пульс, дыхание, направление движения, расстояние до ближайшего объекта. Сканирует его на предмет обнаружения в нём вирусов или опасных бактерий возделения.

В её гаджет загружается благородный облик очередного самца, выжигающего на ней томное от возделение пятно, словно лет двадцать тому назад на фанере через лупу выжигали писающего мальчика.

Вся и все заняты самым важным в мире делом. Солнце благообразно и честно испускает лучи света на бранный пятачок автомобильной стоянки, аккуратно обрамлённый хабариками.

Машины вздымают кучи пыли к небу, которое уныло провисает между супермаркетом и рынком на манер рекламной растяжки.

За столиком открытого кафе, склонив тяжёлую голову с красными, как у кролика, глазами, лениво матерится восток:

– Я тебе отвечаю, мы – Ахмады, древний иранский род, у меня у деда лапища, барана с одного удара заваливал...

– С одного?

– Отвечаю... бл.. буду!

Ахмады!

Я брожу возле рынка и тоже усилием воли пытаюсь вспомнить, что мне нужно в этой жизни для полного счастья или несчастья? Гвоздодёр, антенну, корм для морских свинок, телескоп, обои, дрель, порошок против тли, муравьёв, антимошь, лаванду, электрику, шурупы, саморезы, рабынь-невольниц в розовых трусах, пасущихся поблизости, бисер, шёлк, кашемир, барана или ещё какого-нибудь рожна?

Не знаю!

Я бросаю якорь напротив магазина с витиеватым, словно имя таджика, названием «Заходи», со ступенек ленивой походкой кота, отлежавшего бок, выходит продавец всего и вся лет пятидесяти с гаком.

В розовой – модный тренд сезона – рубашке. Щурится, я ему сразу задаю вопрос, от которого он погружается в глубокую задумчивость, окутав для порядку себя облаком дыма, как Саваоф:

– А нет ли тут поблизости настольных ламп?

– Нету! – спустя продолжительное время, произносит он на выдохе, окутав заодно и меня облаком.

Я молчу, как Исаак, принесённый в жертву.

Лампа мне не то, чтобы очень нужна. Хочется привязать свою праздность, которая уже готова улетучиться в серенький небесный простор, как шарик, к чему-то более определённого и основательному. К чугунной станине проспекта имени Щорса или вот к магазину имени «Заходи».

Модный тренд с хитрым прищуром и мелкими чертами лица, собранными, словно роль-ставни, на лбу, тоже не прочь скоротать время за сигаретой и разговором.

Тема не обозначена и извилиста, как дымок сигареты.

И вот начинает разматываться клубок беседы, у которой ещё пару минут назад не было решительно никаких перспектив.

Заходи за столиком с большим огнетушителем надсадно кряхтит:

– Отвечаю!

От настольной лампы мостик перекинут по направлению к большому пятиэтажному бункеру, через дорогу, потом наискосок вдоль выщербленного, что твоя улыбка, тротуара, к магазину «Электротовары».

Несколько минут мы отводим на пережевывание темы китайского барахла, которое, будучи воткнуто туда, куда ему и положено, работать наотрез отказывается, искрит, вызывает замыкания, цунами, землетрясение, евромайдан.

– Мда, китайские лампы, дерьмо! – радостно подводит он итог.

– Дерьмо! – не менее радостно соглашаюсь я...

– Отвечаю! – говорит Заходи!

А впрочем, зачем вам китайское, у меня есть дядина лампа, говорит мужичок, которая мне совсем не нужна.

Я чутко прислушиваюсь к истории про дядю.

Дядя, оказывается, тот ещё хват. Он, хотя и самых честных правил, но занял деньги и всю сумму вовремя не отдал. Оставшуюся отдаёт лампами, которые он исправно и аккуратно выносит то ли со склада, то ли с того света.

Так что вы, говорит мужичок, улыбаясь и морщины его расправляются в одну большую белозубую, как клавиши рояля, улыбку, ежели не найдёте в этом магазине интересующую вас модель, возвращайтесь, я и вам продам дядину.

Дядина лампа! Возможно, я всю жизнь свою мечтал приобрести именно дядину лампу. Лампу с историей. Ведь китайские

лампы – безликие, немые и слепые, как котята. А дядина – почти волшебная лампа Аладдина! И ежели её потереть, она расскажет сказку 1000 и 1 ночи. Сказку о том, как дядя грустил, любил, завяз по самые уши в долгах и пустился во все тяжкие!

Мы смотрим друга на друга, довольные и счастливые, как молодожёны. Вот всё же есть в этой пыльной бытовке, которая мнит себя городом, бытовке, до крыш переполненной спесью, а водятся-таки хорошие и добрые люди.

А также дяди, волшебные лампы и т. д.

А если чего-то не достаёт, то есть, в конце концов, в запасе – дядя. И если надо, он выйдет из кустов, из лопухов, на время сбросив с себя шкуру кота или чупакабры, устало поводя усами, и ответит за всё и всем!

И Заходи ответит. И дяде его, уминающему барана!

А нельзя ли, говорю, миновать этап: рынок – бункер – рынок, до него далеко! Может быть, сразу перейдём к дядиной лампе?

А отчего нельзя, улыбается он самой радостной улыбкой, на которую способно разве что только варёное яйцо? Можно.

...Но для начала ему надо сходить за белорусской сметаной, потому что всё белорусское натуральное. Я тоже включаюсь в этот увлекательный и бурный поток: Белоруссия, дядя в парусиновых штанах, лампы, тэны на 10 литров, батька. Несомненно, именно белорусское и именно натуральное, потому что там батька. А батька, он такой, он супротив химии придумал ГОСТ. И вот этот самый ГОСТ, отдающий гулким эхом кирзовых сапог в наших сердцах, не даёт всяческой химии и контре дышать, жить и вообще.

– Да, и колбаса у белорусов хорошая! – зачем-то говорю я, и мы дружно улыбаемся.

Через десять минут он выходит из-за угла, как судьба, со сметаной, плотоядно облизываясь, словно собираясь слопать заодно и меня с белорусской сметаной. Сметана исчезает в магазине, затем наступает пауза.

Летняя, не обременительная пауза в жизни, игре, концерте для двух духовых, возможно, валторн.

Щемящая пауза жизни, когда ни о чём не надо думать.

Как сказано выше, в этой лёгкой и лопающейся пузырьками шампанского паузе, шаманской паузе не надо думать ни о чём, а только дышать жабрами легко и просто. Проходит пять, десять минут, пятнадцать... Вечность! Я уже думаю, что он никогда не появится. Или, может, он примерещился мне в клубах пыли?

Ожидание в кредит счастья или волшебной лампы Аладдина напоминает вкус мятного пряника.

Спустя минут двадцать большая лампа, которую пользуют чертежники в конструкторском бюро, движется в сопровождении племянника неведомого и злосчастливого дяди, закисшего в долгах, как в шелках.

Лампа старая, советская, как ГОСТ. А потому не подвержена никаким катаклизмам и болезням. Но главное, она не подвержена тлетворному влиянию этого подлого времени.

И всего-то за сто рублей я приобретаю прошлое конструкторского бюро, его тайны, дядю-неудачника со всеми его потрохами и ещё в качестве бонуса – историю про дочь. Оказывается, дочь любителя белорусской сметаны живёт в Питере...

Я уже просто-таки готов не только выпрыгнуть из своих видавших виды штанов от счастья, но и жениться на его дочери только из-за того, что она живёт в Питере. Хотя и женат. Но чего только не сделаешь из любви к искусству и гармонии!

Хорошие незамужние девушки обитают только в Питере. Это известно всем или почти всем прохвостам.

И мы опять улыбаемся, озаряя сиянием хмурые витрины магазинов «Колбасы» со свернувшимся по гадючьей жгуту краковской и «Пиво» с запотевшим огнетушителем.

Вот ведь как оно происходит? Конструкторское бюро, дядя-заёмщик, жизнь которого в беспрестанных долгах летит под откос, Белоруссия, сметана, ГОСТ, батяка, дочь и Питер!

Вот ведь анафема! Вот ведь!

Дочь, растолкав дядь, батек, локтями, выплывает, будто пава, на передний план.

Она, как Арлекин, накрашена решительно и ярко. И у неё тоже мелкие черты лица любителя русской бани, массажиста и т. д.

Дочь никак не может выйти замуж, а у нас в Питере полным-полно бесхозных женихов, которые только спят и видят, как бы им найти практичную подружку жизни из провинции. Подругу, которая в один прекрасный или не такой уж и прекрасный, осенний вечер, возьмёт его за узкие жабры, взденет на кукуанчик и подвесит сушиться на балконе где-нибудь в районе Купчино.

Ну конечно, Питер полон женихов, просто надо знать, где эти сукины сыны водятся!

Надо знать волшебное слово!

Я его знаю или делаю вид, что знаю!

Мы познакомим, женим, дети пойдут, племянники, дяди, естественно... Я даже уже представляю себе бесконечную вереницу народа, выходящего из подъезда дома на улице Плов-

диевской, которые как две капли воды похожи на дедушку, что любит белорусскую сметану и вынимает, словно фокусник из рукава – лампу из конструкторского бюро, дядю, колбасу краковскую, фикса золотую и всё прочее.

Волшебное слово – Заходи!

Ах, ещё дочь есть? Всех, сколько бы их ни было, выведем на чистую воду и в люди. Женим, разведём, потом снова женим.

Забудьте вы про дядю и долги. Считайте, что дядя продан на невольничьем рынке на Апраксином дворе. За долги!

А Ваша дочь там косметикой от ведущих парижских кутюрье уже торгует!

Там, знаете, как выйдешь из арки, и справа лоток с очками и бюстгалтерами?

Вот! Там она и будет. Уже есть.

Я думаю, что мне только природная лень и отвращение ко всякого рода суете помешали заняться матримониальным бизнесом!

Надо бросать литературу к чёртовой бабушке. И развернуться вширь!

В мире море всех этих инфантильных дочек, всех этих слащавых крашенных блондинок, провинциальных буржук с брекетами и без. Дочек, которые бесстыже виляют своими худосочными задами перед честным тружеником умственного труда с фиксой.

Их, которые, как сказано выше, бесстыже виляют своими худосочными задами перед честным тружеником умственного труда, я бы тут же немедля выдавал за тамошних мужланов, одиноко и неприкаянно скитающихся вдоль Мойки в поисках своего когнитивного диссонанса. Я бы обженил весь Питер и пригороды с Петродворцом в придачу. У меня бы все давно были замужем и женаты и колесили на рынок на своих мицубишах!

Вот как оно!

Мы обмениваемся телефонами, клянёмся друг другу в вечной любви и мужской солидарности. И расстаёмся, если не навсегда, то, по крайней мере, до такого близкого и недалёкого, как витрина магазина «Колбаса» со свернувшимся в ней по-гадючьи жгутом краковской, счастливого будущего.

И оно скоро наступит!

Обязательно наступит на горло собственной песне!

Если только дядя не подведёт...

P.S. Тэн для сугрева горячей воды, который был продан в нагрузку к дядиной лампы, проработал не более месяца и сдох.

Все попытки оживить его не привели к результату. Лампа продержалась дольше. ГОСТ все-таки. Полгода. Но потом и она не сдюжила. А прохвост, который мне всё это продал, пропал.

Растворился в атмосфере города грёз, города-снов. А может, сбежал в Питер. Душить в крепких объятиях нового зятя, а потом под покровом темноты спихивать багром его в Мойку.

Счастье в отличие от квартиры – штука ненадёжная!

МИХАЛЫЧ

Из машины Михалыч уверенным шагом пошёл в противоположную от местной газеты «Сенеж» сторону. Если бы Михалыч не был человеком, то он был бы, наверное, танком.

– Михалыч, – газета не там.

– Да ты чо?

Уговаривать Михалыча – дело пустое. И мы оказались сначала у цветочных палаток, где тоскующие цветочницы пристально изучили шкиперскую бородку Михалыча. А потом перешли дорогу, разделяющую городок Солнечногорск на две неравные половинки яблока.

В скверике – серебряный Ильич излучал оптимизм. Михалыч в своей защитного цвета куртке с москитной сеткой, штанах и с безразмерной корзиной, куда, если постараться, вошёл бы весь город Солнечногорск вместе с тоскующими цветочницами.

Защитный цвет – это, видимо, чтобы грибы не заметили!

Мы потоптались у Ильича, как первые христиане у мощей Учителя. Потом Михалыч уверенно повернул оглобли обратно, крикнув:

– Ну я же сказал, что мы не туда идём. Это ты меня запутал!

Михалыч глуховат. Он не говорит, кричит. Когда за столом, да ещё с женой, они орут вместе. Она орёт, потому что он туг на ухо. Он орёт, потому что с Севера. На Севере все орут, заглушая завывание вьюги.

Поиски кроссовок превращаются в драму. Двери стучат, супруги кричат, лает истошно соседский пёс Боцман.

Наконец, после долгих и безнадёжных плутаний газета «Сенеж» обнаружилась в кирпичной пристройке к пятиэтажке. В газете «Сенеж» у Михалыча интервью.

На крылечке курит печальная дева Брунгильда, вышедшая покурить из озера Сенеж. В тесной комнатулке с незамысловатыми, как штаны Михалыча, узорами бьются с жизненными обстоятельствами две фактурные бухгалтерши.

– Димы нет. Газеты у него. И вообще Дима в отпуске!

Но Михалыча просто так не сломаешь: сибиряк, на медведя ходил в рукопашную:

– Я – Блинов! У меня интервью в майском номере. Дима оставлял мне газеты.

Упасть и не встать: Блинов!

Это в Губкинском каждая хромая собака с облезлыми боками знает, кто такой Блинов! Каждый медведь в берлоге, разбуди его синей и вьюжной полярной ночью. Каждая куропатка или разведёнка в продуктивном магазине. А город Солнечногорск недалеко то Москвы. Всяких навидался. Эка невидаль:

Блинов!

Решено ждать Диму, который уже выехал из отпуска на автобусе и будет через 20 минут.

От нечего делать мы переходим дорогу. Зебра, как полосы судьбы Михалыча. Мы – на светлой. У Михалыча скоро выйдет книга, сейчас приедет из отпуска Дима и даст газету с интервью. А потом Михалыч поедет за грибами.

Корзина величиной с Камаз, куда можно вместить даже озеро Сенеж с пляжем, санаторием художников и русалками.

Михалыч говорит, что меньше двух ведер собирать не при-
вык.

Судьба обламывает Михалыча, но он упорно идёт ей наперекор. Лихачит. Говорит, что сейчас возьму и обгоню вот ту машину, что впереди, не проснувшись. А Рима, жена его, говорит, ну да обгонишь, как в прошлый раз, и тебе дадут по морде.

– Кто даст? – кипятится Михалыч.

– Да в прошлый раз тебе дали по морде.

– Да ты что? Это я ему чуть не дал. А если бы он дал, то получил бы у меня.

Михалыч в молодости занимался боксом. На гвозде, на даче висят боксёрские перчатки, похожие на бордовый помидор – только что с грядки.

На улице жара. Мы возвращаемся в газету. На крылечке курит печальная Брунгильда.

– Нашли! – говорят бухгалтерши.

Михалыч счастливый, он листает газету. Интервью нет.

– Да ладно, Михалыч, бери, что дают! Всё равно ведь читать не умеешь! – Я шучу, бухгалтерши, колеблясь всем телом, как саламандры, смеются!

Дима летит на звездолёте. Духота наступает на горло собственной песне.

Мы ждём Диму. Я иду за кофе на меньшую половинку Солнечногорска, которая обложила железнодорожные пути, как монгольское иго. Михалыч, поникнув головой, увязался за мной.

Он не привык сдаваться. Кофе растворимый в маленькой будке, где готовят шаурму и загорают грустные чебуреки. Жарко, как в сауне.

– Как же вы тут живёте? – спрашиваю я Гульчатай.

– Мы выбегаем на улицу.

Летний день длинный, как бабл-гам, но газету всё же находят. Мы прощаемся.

Я с газетой в руке, где большой портрет Михалыча и где он гордо говорит о том, что литература никому не нужна, поднимаюсь на мост, потом спускаюсь, на ступенях сидит парень с расквашенной физиономией. Вот, допижонился, как Михалыч, у него, поди, тоже были претензии к миру.

На платформе железные поручни посередине. Это, чтобы не унёс мелькающий, как пуля у виска, сапсан. Михалыча и без поручней не оторвёшь. Он врос в землю, сроднился с нею, что гриб!

Объявление из репродуктора:

Запрещено курить и валяться на диване!

Ну это только тем, кто сдался малодушно, думаю я. Всем остальным, не всем, правда, но можно.

Вот Михалычу можно!

У него почти уже вышла книга. И напечатали интервью!

Но однако жарко, и скоро будет гроза.

Если Михалычу позвонить, то он и грозу отведёт.

Михалыч написал 10 томов книг в твёрдой обложке. Он знает – что и как!

Михалыч любит, когда его хвалят, а когда ругают, нет. Тогда он начинает кипеть, как чайник. И из-под его пышных, как у кота, усов, валит пар:

– Да ты прочти сначала!

– Михалыч, кто ж нынче читает-то?

Писатель – это разведчик. Он пишет не для себя и окружающих. А для очистки совести. Потому что иначе не умеет, не может.

Его заслали в тыл врага. И крутись, как хочешь.

И Михалыч пишет. А народ не читает. А он все равно пишет.

Про север, буровиков, медведицу, которая плакать умеет, про своё голодное детство, когда картофельные очистки, словно деликатес, лупил. Только бы сердце выдюжило. Всё хорошо

и надежно у тех, кто с севера. Вот только сердце нашенской сборки нежное, по-детски вспыльчивое и рано изнашивается.

Правда, в Губкинском, говорят, особое. Огнеупорное и водостойкое. Но у Михалыча – пошаливает.

Поршни постукивают, и насос хрипит.

Видать, что-то такое не докрутили, когда гайкой наживляли.

Болезни на Михалыча наваливаются зимой, летом его не берёт. А зимой он сидит и перечисляет болезни: сердце, подагра, сосуды...

Небольшое приложение к северу, военному детству, интернату, лепешкам из сныти, спирту и морозу 70 градусов.

Михалыч сидит, а за ним в алмазной снеговой пыли летит, очертя голову, страна, чудесная сказка про оленье рога, в которых рождается солнце для всех людей.

И персонально – для него, Михалыча!

ВЕЛЬЯМИНОВО

В Вельяминово темнеет рано, словно возле села вечно гуляет Золотая орда и регулярно выжигает посадки дотла.

Поэтому и пустота в Вельяминово, хоть волком вой.

И вроде коттеджи кругом, люди прохаживаются туда-сюда, собаки лают, всё чинно и благородно, но – пусто. Ведь согласно энциклопедии: село основано Протасием Вельяминовым аж в 13 веке.

13-й век! Кромешная тьма веков. Подумать страшно! От крещения Руси прошло каких-то три столетия. Еще Мамай не валялся. Ивана Грозного не поминают всуе недобрым словом даже новгородцы. Смутное время – далёкое и неизвестное будущее – звездолёты, бороздящие просторы вселенной. Петр Первый в воспалённом воображении сумасшедшего, а всё остальное – вилами на воде. Да и будет ли, не ведомо?!

Москва еще не третий Рим, а – село городского типа с деревянными домами.

Такие достижения цивилизации, как канализация – утопический роман!

А меж тем Вельяминово уже стоит себе и в ус не дует! И предок известного актера Петра Вельяминова, который всю жизнь играл колхозников, тщательно скрывая свою боярское прошлое, собирается бороться с Романовыми за престол!

Вряд ли вельяминовцев по ночам не допекают языческие призраки. Перуны и Дажьбоги. До рождения Дмитрия Донско-

го, родственника Вельяминовых, еще пятьдесят лет с гаком. И после – почти вся история государства Российского.

И Вельяминово всё это скоро увидит. В 15-м веке это славное местечко вблизи Москвы сожжёт Девлет-Гирей, очередной Джавдет, за плечами которого Белое солнце пустыни!

А спустя восемь веков на автобусе приеду я, чтобы в местной пиццерии откусать кофию.

В окошке, как в подрамнике – Храм Преображения Господня.

Вот так бы сидеть здесь вечно, никуда не торопясь, лениво поглядывать в окошко на Преображение, цедить из чашечки сгущающиеся сумерки и не думать решительно ни о чём.

Хорошо ни о чём не думать в конце декабря в словно мерцающих сумерках!

Стрелки замерли, часовой механизм заржавел, время пошло обратно, или, как пишут в фантастических романах, вспять!

Если бы не Преображение, пиццу и кофе пришлось бы перенести километров на 65 на северо-запад.

Крепко засесть, как Чапай с максимумом, в каком-нибудь торговом центре. Или – смешаться с толпой, ассимилироваться с ордой. Жить безоглядно и тупо, глядя на окружающий мир сквозь витрину Ашана!

А в Вельяминово – ни души. Тишину можно ощутить как женщину, не веря тому, что это – не сон, и, как и всё хорошее, он исчезнет, растает, стоит только прикоснуться.

Вельяминово – кладбище времени. Его сюда свозят со всей округи, складируют и утилизируют!

Одна, две избушки в глубине села несут на себе несомненный отпечаток наличников. Они желтеют в брезжущих сумерках неярким, а слегка разбавленным декабрём, светом фонарей. Их ненадёжный, тусклый свет, словно фары дальнобойных машин, которые утюжат Каширское шоссе справа налево и слева направо. Свечение наличников, словно вызов тьме веков.

Но всё же, как так: ничего?

В самом, почитай центре села лежит камень бел-горюч:

Село Вельяминово основано в 1279 году боярином Протасием Вельяминовым

Но куда умчалось это навеки ушедшее время?

Кузнецы в сыромятных ремешках на голове и кожаных передниках, с молотом и раскалённой подковой, зажатой щипцами, пахари и косари с обветренными лицами, старики и старухи у плетня, глядящие вдаль, молодая девка, подобравшая подол

и корова, из-под которой струится пар и молоко, малец без штанов, отбивающийся прутиком от шипящей, как сковорода, гусыни, – где это все?

Ничего не осталось. Один лишь храм Преображения с чудотворной иконой Богородицы Млекопитательницы и проступившим на стекле тёмным силуэтом древней иконы. Но и это – всего лишь конец 19 века. Старых стен уже не существует. Церковь взорвали в 1936 году. А этот гранёный, немного грузный, как будто испытывавший всю брэнность земную, барабан – восстановили в 2002-м.

Всё остальное – знакомое до дрожи типовое жилое пространство с призрачной маршруткой, которая каждые полчаса уносит парочку-тройку нетрезвых или сонных пассажиров с ветерком до метро Домодедово.

Маршрутка мчит всё прямо и вперёд, как будто счастье там, в Первопрестольной, у метро Домодедово, или там, куда летят самолёты и ходят поезда. А здесь – только одно Преображение – на всю округу, серую и притихшую, как мышь.

Но только ничего не преобразается. Ни здание почты с колосьями пшеницы латунной чеканки периода недоразвитого социализма, ни здание сбербанка с такими же обшарпанными серпом и молотом.

Время гваздануло Вельяминово молотом о наковальню. И остались от былой славы серый прудик с Набережной улицей, деревянный остов, вставший на дыбы из каких-то кирпичных развалин, словно скелет динозавра в палеонтологическом музее, припаянный к вечной мерзлоте магазин «Продукты» с надписью «Вход сбоку».

Но входа, а заодно и выхода ни сбоку, ни где еще. А есть такое вот объявление, листок формата А4, пришпиленный к дереву:

31 декабря в 15.00 у почты будет продажа кур-молодок. Возраст 5 месяцев, отличная племенная молодка яичной породы. Дёшево, цены снижены на 30-40 %. Приезд в указанный день и время будет в любую погоду. Последняя распродажа в этом сезоне по прошлогодним сниженным ценам!!!

В пиццерии, взобравшейся на плечи продуктового магазину, одиноко, хоть застрелись. Лишь одна барменша-бандерша, крашеная брюнетка с усами, басит из угла:

– И еще не забудь, Коля, три ящика Jack daniels!

Коля не забудет, свинья не съест, так и живут.

Новый год на носу, в кафе три залы. Есть где разбежаться вширь и вглубь. В средней зале с тёмными обоями сцена и вбитый, словно кол в спину вампира, шест для стриптиза!

Стриптиз в коттеджном поселке – такая же примета времени и реальность, как Золотая орда в 13 веке.

А кофе медленно испаряется, словно сквозь меня просеивают минуты, часы, мгновения, века. Или я просеиваюсь сквозь них?

Солнце песчинками в часах истекает, последние минуты, секунды, дни...

Но куда же кануло такая уйма времени? В какую прореху? Кто его умыкнул?

Где следы пребывания в Вельяминово человека?

Преображение? Но там – Бог. Одинокий и брошенный всеми на кресте.

Батюшка, не верящий ни в Бога, ни в черта, обитает по соседству, в кирпичном, словно игрушечном, доме. Домик аккуратный, двухэтажный, как в раю. По двору ходит валяжный и раздувшийся, словно шарик воздушный, рыжий кот.

Батюшкин!

Время иссякло. В это место вбили кол для шестового стриптиза. И по вечерам здесь извивается целлюлитная Джессика из Житомира.

И это все, что осталось от тысячи лет христианской цивилизации!

Трудно представить себе, что пройдет еще восемь веков и над Вельяминово, наконец, взойдет солнце. Вспыхнет, как лампочка Ильича, заря новой жизни!

А может, и вспыхнет, кто ведает?

Может, как раз всё у Вельяминово впереди! Кур-молодок по шибко сниженным ценам завезут только 31. Виски с содовой, шестовой стриптиз отойдут в прошлое, и потомкам, кузнецам и пахарям, надо будет долго и упорно объяснять на пальцах молодым, что это такое. И никто так и не поймет: что и зачем! И лишь слепой дед Ермолай, которому перевалило за сто, скажет, что его прадед, тот, кажется, был на стриптизе и говаривал, крикнув после рюмашки, что это – вроде рыбалки. Только вместо наживки баба трепыхается, а мужики должны поймать эту русалку на свой уд!

И мне сладко от дрёмы, в которую погружает по-осеннему тёплый зимний вечер, неяркое солнышко, мутнеющее вдалеке по-над крышами.

Но покуда несущек не завезли, всё кругом невзрачно, словно не выспалось.

Однако пора назад, в будущее!

31-го будут куры яичной породы, а завтра во дворе гостиницы – ещё и еноты в клетке.

Маленькие обаятельные негодяи потянут свои маленькие цепкие ручонки из клетки за бананами. Бананами их кормит Петрович. Работник в вязаной шапке, с одним единственным жёлтым зубом, мешочками под глазами и неторопливой, но бодрой и довольно связной речью алкоголика, регулярно похмеляющегося с утра.

Петрович любит енотов, еноты с полосатыми хвостами отвечают ему взаимностью. Он знает о енотах гораздо больше, чем сами еноты о своей нелепой и даже никчёмной жизни.

Никчёмной, потому что это за жизнь в клетке, сквозь которую белый свет, как шахматная доска и непонятно, с кем воевать?

Еноты с аппетитом трескают яблоки. Петрович подробно и охотно рассказывает новому посетителю о повадках енотов. Видимо, потому что с енотами хоть и хлопотно, но особо не разговоришься. А лисы, те и вовсе всё время только и делают, что спят, почти как русская история, покуда её не разбудят декабристы с Герценом.

Петрович и еноты – вот и всё, что есть в Вельяминово, хотя оно в пяти верстах от гостиницы, где томится вдали от Домодедово с бутылкой пива командированный бурят из Золотой орды:

– Что это за тема? Когда я уеду?

– Вы же сами сказали, что поедете на следующей?

– Это я сказал? Что за фигня?

И, правда, что за фигня?

Вельяминово, Барыбино. Стиптиз и Jack daniels. Еноты и кролики, Мамай, хорьки и Петровичи...

Но – полно. Всё еще будет!

Главное, чтобы несушка не подвела, снясла яичко, а машина 31-го – продралась из тьмы веков к центру города!